

Иван Александрович Гончаров

**Заметки о личности
Белинского**

**Гончаров Иван
Александрович
Заметки о личности
Белинского**

И. А. Гончаров

ЗАМЕТКИ О ЛИЧНОСТИ БЕЛИНСКОГО 1

На мой взгляд, это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам.

Такие натуры встречаются нередко - я их наблюдал везде, где они попадались: и в своих товарищах по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдал и в самом себе - и во множестве экземпляров - и во всех находил неизбежные родовые сходственные черты, часто рядом с поразительными несходствами, составлявшими особенности видов или индивидуумов. Все эти наблюдения привели меня к фигуре Райского в романе "Обрыв", этой жертве своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цель фантазии. Последняя была в нем праздною, бесполезною силой, и, без строгой его подготовки к какому бы то ни было делу, разрешалась у него только в бесплодных порывах к деятельности и уродовала самую его жизнь.

Но другие, богато одаренные натуры, став твердой ногой на почве своего призвания,

подчиняют фантазию сознательной силе ума и создают целую сферу производительной деятельности. Так было и с Белинским.

Но напрасно приписывать избыток фантазии и восприимчивость только художническим натурам. Не одним художникам нужно творчество: это я говорю вопреки мнению Белинского, или, по крайней мере, вопреки его словам, не раз слышанным мною от него, что "Бог дал человеку быть творцом только в искусстве".

Тут есть нечто недосказанное. Совершенно справедливо, что в искусстве художник создает или изобретает сходства и подобия, т. е. образы существующего или возможного в природе, а в сфере знания ученый только угадывает или открывает скрытые законы или готовые истины. Но, сколько мне кажется, в процессах самого этого угадывания или этих открытий действуют также изобретательные или творческие силы и приемы. Не один Ньютон наблюдал падающие с дерева яблоки и не один Фультон видел, как привскакивает крышка на чайнике от пара - однако не угадывали же другие законов тяготения или па-

рового движения, - следовательно, и тот и другой были как бы творцы этих законов.

Таким образом, нервозность, т. е. тонкие и чуткие нервы, а вследствие этого впечатлительность и помощь фантазии присущи, как необходимый элемент, всякой работе, требующей инициативы мысли и изобретательной производительности, не говоря уже о науке, искусстве, но даже в ремеслах, чему мы видим немало примеров. Талантливый ремесленник, с помощью этой же фантазии, делает новые, смелые шаги в ремесле и иногда возводит его на степень искусства.

Чуткость нерв и фантазии в художниках (живописцах, поэтах, актерах) только разнообразнее и капризнее проявляется, по самому свойству и натуре их дела, по образу жизни и прочим условиям.

И Белинский в сфере своей деятельности также творил по-своему, т. е. угадывал смысл явления, чуял в нем правду или ложь, определял характер его, и если явление представляло пищу увлечению, он доверчиво увлекался сам и увлекал других. Пережив впечатление в самом себе, истратив на него потоки, более

или менее горячих, печатных или изустных, импровизаций, он потом оставался ему верен уже в той доле правды, не какую он видел в пылу увлечения, а какая действительно была в нем - и относился к нему умереннее.

Наконец у него были постоянные увлечения или влечения, плоды не одной только фантазии или напряженной работы непрерывного умственного развития: они составляли основу его честной и прямой натуры: это влечения к идеалам свободы, правды, добра, человечности, причем он нередко ссылался на Евангелие, - и не помню где, - даже печатно. Этим идеалам он не изменял, конечно, никогда и на всякого, сколько-нибудь близкого ему человека, смотрел не иначе, как на своего единомышленника, иногда не давая себе труда всмотреться, действительно ли это было так. Никаких уклонений от этих путеводных своих начал он ни в ком не допускал и не простил бы никому иного исповедания в нравственных, политических или социальных взглядах, кроме тех, какие принимал и проповедовал сам, разумеется в теории, ибо на практике это было неприменимо в то вре-

мя нигде, кроме робкого проговариванья или намеков в статьях, да толков в тесном кругу друзей.

В стремлении или в порывах, повторяю бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим последним идеалам особенно высказывалось его горячее нетерпение, иногда до ребячества. В тумане новой какой-нибудь идеи, даже в роде идей Фурье, например (о чем могут больше меня сказать знавшие его смолода), если в ней только искрился намек на истину, на прогресс, на что-нибудь, что казалось ему разумным или честным, перед ним возникал уже определенный образ ее; нарождавшаяся гипотеза становилась его религией; - он веровал в идеал в пленках, не думая подозревать тут какого-нибудь обольщения, заблуждения или замаскированной лжи. Он видел только одну светлую сторону. Так, всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и новый у нас слух и говор о коммунизме, он наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: "Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, - но будь у меня миллионы, я

отдал бы их!" - Кому, куда отдал бы? В комму-
ну, для коммуны, на коммуну? Любопытно
было бы спросить, в какую кружку положил
бы он эти миллионы, когда одно какое-то
смутное понятие носилось в воздухе, кое-как
перескочившее к нам через границу, и когда
самое название "коммуны" было еще для мно-
гих ново. А он готов был класть в кружку
миллионы, и положил бы, если б они были у
него и если б была кружка! Он только слы-
шал о коммунизме: книг негде было взять -
но, конечно, он скорее других почерпнул из
рассказов одну мечту, манившую к соблазни-
тельным благам.

Он мчался вперед и никогда не оглядывал-
ся. Прошлое для него отживало почти без сле-
да, лишь только оно кончалось. По свойствен-
ному его натуре чувству справедливости, он,
конечно, сумел бы найти и полюбить, напри-
мер, в славянофильстве, чту было в нем ис-
креннего и правдивого, но довольно того, что
славянофилы хотели создавать новый строй
русской жизни на старом, хотя и хорошем
фундаменте, чтобы уж безусловно разойтись
с ними, смотреть на них если не враждебно,

то недоверчиво. Он иногда не только терпел около себя людей довольно ограниченных, но любил с ними беседовать, когда между ними ничего не было общего, кроме веры в одну какую-нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую в даль, к отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чем они могли говорить с Белинским по долгу - понять было трудно: это объяснялось между прочим трогательною, почти детскою снисходительностью Белинского к своим приятелям и ко всему, что их составляло, что им принадлежало. Возбудить его против себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться с ним, как сказано выше, в коренных убеждениях, и то, если бы это обнаружилось как-нибудь на практике, в жизни - а затем, будь приятель его чем хочешь, но он не терял права на его дружелюбие, однажды приобретенное, особенно, если еще это выкупалось чем-нибудь, например, талантом или просто даже безмолвным сочувствием его идеям и идеалам.

Ни в ком никогда не замечал я, чтобы са-

молюбие проявлялось так тонко, скромно и умно, как в Белинском. Он не мог не замечать действия своей силы в обществе - и, конечно, дорожил этим: но надо было пристально вглядываться в него, чтобы ловить и угадывать в нем слабые признаки сознания своей силы: так он чужд был всякого внешнего проявления этого сознания. Сам он никогда не упоминал о своем значении.

Когда я узнал Белинского в 1846 г., здоровье его было подорвано, хотя болезнь еще не развилась до той степени, как в последний год его жизни. Он был еще довольно бодр, посещал, однако, немногих, и его посещали тоже немногие и не часто. Он начал, по-видимому, утомляться и своею любимую деятельностью, мечтал иногда, вслух, впрочем редко, о независимом положении от подневольного срочного труда. Но этой мечте сбыться было не суждено. Он, с кружком близких друзей, перешел от одного журнала к другому, но это не принесло ему отдыха. Напротив, надо было употребить все силы, чтобы воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь. Он, так сказать, умирая,

дописывал последние свои статьи. Поездка на лето в Крым с Щепкиным не помогла ему, и он вернулся в Петербург едва ли не слабее, чем был до этого.

Известно, как произошли все эти перемены: основание "Современника", переход всего кружка из "Отечественных записок" в новый журнал. Затем, вскоре развилась быстро болезнь - и Белинского не стало.

К вышесказанному о способности его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазии, которая помогала Белинскому чутко проникать в истинный смысл явлений, нередко вводила его и в горькие заблуждения - отрезвление от которых обходилось ему дорого, на счет здоровья. Он точно горел в постоянном раздражении нерв: всякие пустяки, мелочь, все это с одинаковою силой, наравне с крупными явлениями, отражалось у него на печени, на легких. Часто, в спорах, от пустого противоречия, от вздорного фельетона Булгарина, или его сотрудников, у него раздражалась вся нервная система, так что иногда жалко, а иногда и страшно было смотреть на него, как он разрешался грозой, злостью в какой-ни-

будь, всегда блестящей, но много стоившей ему импровизации. И это за то, например, если кто-нибудь отзовется сухо, с пренебрежением о тех или других сочувственных ему авторитетах в сфере мысли, науки или искусства, не говоря уже о более серьезных поводах. Он загорался как-то вдруг (особенно, если был подходящий слушатель - а не из близких, с которыми все переговорилось и нечего было ни давать, ни самому взять) - и в течение часа, двух являлась импровизация, в роде тех статей, какие появлялись в "Отечественных записках".

И вот эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легких и вообще хрупкости организма, - убила, сожгла этого человека. Я застал, как он очевидно догорал в борьбе, не только со всем враждебным, чем обставлена была его жизнь (как и жизнь почти всех более или менее в то время, и в том кругу), но он не совладел с хаотическим состоянием собственных сил, в которых никогда не было равновесия, не только на какой-нибудь более или менее продолжительный период, на год, на полгода, напри-

мер, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая неделя когда-нибудь, чтоб он не истерзался чем-нибудь до истощения и упадка сил!

Если ничего не приходило извне, он хватался за свои постоянные и любимые, большею частью недостижимые идеалы, общие и вечные вопросы о той или другой свободе, о низвержении тех или других старых кумиров, и никогда ни от чего не отдыхал, потому что покой вообще не свойствен натурам нервным, даже и не в его роли и не при его значении. Надо еще удивляться, как при этой непрерывной напряженной работе умственных и душевных сил в таком скудельном сосуде жизнь могла прогореть почти до сорока лет!

Поэтому сваливать преждевременный конец его на что-нибудь другое, кроме этих разрушительных и жгучих свойств его природы, непрерывного брожения и горения которых не выдержал бы и другой, не такой хрупкий сосуд - и несправедливо, и неверно! Как тогда старались, так и теперь все еще стараются сваливать вину то на одного, то на другого из

журналистов, обременявших непосильною работой Белинского. И сам он, хотя жаловался иногда на утомление и мечтал, как я сказал выше, о независимом положении, о покое, но эти редкие мечты были, так сказать, общими местами жалоб, какие приходят на ум и на язык каждому из нас среди спешных или утомительных занятий.

Да и возможен ли отдыхающий Белинский? Без непрерывной работы, без этого кипения и брожения вопросов и мнений, вне литературной лихорадки, - я не умею представить себе его. Когда его повезли за границу - он был сам не свой. "Хорошо ли вам было там?" - спросил я его по возвращении. "Пленение вавилонское!" Вот как выразился он про свое лечение и отдых.

Нет, ему необходима была его спешная, лихорадочная работа, - нужен и дорог был и свой маленький кружок, в своей семье, у очага, среди пяти-шести близких лиц, где он бился и трепетал природною своей жизнью, изливал потоки силы, служа своему призванию - и этим удовлетворял себя, и сам чувствовал эту свою силу, и давал чувствовать ее

другим - этим наслаждался, этим только и жил, т. е. горячим лихорадочным писанием статей и еще более горячими, лихорадочными, иногда почти горячешными импровизациями в кругу близких лиц.

Это был не критик, не публицист, не литератор только - а трибун. Публичная его трибуна - в журнале; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, где он был нараспашку, это домашняя трибуна, где он не только знал, но, так сказать, видел свою силу, поверял, измерял ее, любовался ею сам, глядя, как наслаждаются ею другие. От этого и были к нему ближе всех те, кто любил в нем больше всего его талант, даже больше, нежели его самого! Не допускать этого, значит не понимать хорошо натур этого рода. Самолюбие иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многих и единственный двигатель деятельности, а часто и всей жизни. Я сказал уже выше, как умно и тонко высказывалось оно у Белинского - именно в благодарной симпатии к почитателям его силы.

Многочеловечество, новых людей он не любил

и избегал. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались в количестве лиц и впечатлений. Свой внутренний мир и западающие туда редкие явления давали громадную пищу его неумолкающему и беспощадному анализу, и он едва справлялся и с тем материалом, который попадался ему, так сказать - на лету, случайно, или на который наводили его занятия по журналу. Он мало даже читал газеты, как-то одним ухом слушал внешние известия, которые занесет, бывало, то тот, то другой приятель, но во всем находилось всегда довольно материала на промежуточный какой-нибудь день или вечер между писанием статей. Все почти служило ему темой для более или менее тонкого, иногда бурного, или злого, или, наоборот, восторженно-словоизлияния. Он маялся и скучал, ходя из угла в угол, когда не было подходящего собеседника: ему приводили новое лицо, т. е. недавнего, еще не привыкшего к нему знакомого, и когда, наконец, никого не было, кроме своих, устраивали партию в преферанс.

Если не было очередного, насущного материала, он из себя добудет пищу: придешь, бы-

вало, а он вдруг заговорит, по-видимому, ни с того ни с сего (а, конечно, вследствие кипевшей в нем внутренней работы) о каком-нибудь, как помню однажды, например, "Прометее" Гете: и в эту минуту уже ничего выше этого "Прометея" не было! Или вдруг нападет на какой-нибудь авторитет, которому все привыкли слепо поклоняться, - и низвергнет его: не то так возьмет текущую новость, крутую административную меру, - и польются потоки речей, полные тонкого анализа, метких определений, горячих осуждений. Особенно цензура подавала пищу его словесной критике. Чего тут не было! И в то же время он боялся шпионов, и сколько был доверчив к приятелям, даже ко всем входящим к нему лицам, к которым привык, столько же боялся новых людей, косился на них, подозревая предательство. Между тем не могло быть лучшего доказчика на него, как он сам. Он на ухо каждому приятелю доверял все, что было у него на душе, и ребячески думал, что это тут и умрет. Ему даже в голову не приходило, что те в свою очередь передавали это, также на ухо, своим друзьям, и что сказанное им, по-

что всегда веское и ценное, непременно дойдет и до других, уже не дружеских ушей.

Что же бы делал такой человек в покое, т. е. в праздности, без своей трибуны в журнале и без этой маленькой аудитории около себя из десятка лиц, заменявших ему весь мир, признававших его и любивших, как человека, и как силу? Все равно, где бы ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, - он всегда горел и сторел бы: прежде всего в борьбе с ложью и грубостью около, вблизи, и потом в погоне за далекими, уходящими из всякого реального достижения идеалами. Вот его натура - вся!

Я не говорю, чтобы неприятности, потом нужды, теснота жизни, наконец страх, под которым жили и ходили все тогда, не имели своей доли разрушительного влияния на здоровье и жизнь его; но я положительно убежден, что без непрестанной, вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организм, он перенес бы все остальное, внешнее. Он был обычной жертвой в борьбе крайнего своего развития с целым океаном всякой сплошной, господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, несмотря на его ум, многие опыты, лета, и особенно беспощадный и верный анализ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно он был одарен фантазией. Я не говорю уже о том, как юношески восторженно упивался он красотами известных капитальных, любимых им произведений, но он с любовью анализировал каждую мелочь в них, иногда впадая в ребячество до комизма! Стоит развернуть некоторые статьи, о Гоголе, где он говорит, или, лучше сказать, трепещет под его живым влиянием. Например, в статье о "Горе от ума", посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоедову, что он говорит о гусаке Ивана Никифоровича: без смеха нельзя читать! "Великая, бесконечно великая черта художнического гения этот гусак!" - восклицает он с пафосом и пишет целую страницу о гусаке².

Белинскому нередко приходилось стыдиться своих увлечений и краснеть за прежних идолов. Тогда он от хвалебных гимнов переходил в другой, противоположный тон - и не скупился на сарказмы, забыв прежнюю нежность к своим любимцам. Когда он в пер-

вые мои свидания с ним осыпал меня добрыми, ласковыми словами, "рисуя" свой критический взгляд на меня мне самому и заглядывая в мое будущее, я остановил его однажды. "Я был бы очень рад, сказал я, - если б вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге ("Обыкновенная история") теперь". - "Отчего?" спросил он с удивлением.

"А оттого, - продолжал я, - что я помню, что вы прежде писали о С., как лестно отзывались о его таланте, - а как вы теперь цените его!" (А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появилось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем неоспоримой заслуги, как будто его и не было вовсе в литературе).

Мое справедливое замечание, сделанное мною, впрочем, вскользь, шутливым, приятельским тоном, неожиданно тронуло и задело его за живое. Он задумчиво стал ходить по комнате. Потом прошло с полчаса. Я уже забыл и говорил с кем-то другим, а он подошел ко мне и посмотрел на меня с унылым упреком: "Каково же? - сказал он наконец, указы-

вая кому-то на меня, - он считает меня флюгером! Я меняю убеждения, это правда, но меняю их, как меняют копейку на рубль!" И потом опять стал ходить задумчиво.

Он, конечно, верил в то, что говорил, потому что он никогда не лгал, но это его объяснение было неверно. Он менял не убеждение, а у него менялись впечатления, и пока впечатление переживало в нем свой срок, оно поглощало его всего, он детски отдавался ему, употребляя на выражение его пером или словами всю свою силу, без пощады, до тех пор, пока не наступит в духе его реакция, работа анализа, и не охладит впечатления, или пока - как я выше сказал - само впечатление, своею ложью или грубостью внезапно не отрезвит его. Он спешил высказывать процесс действия самого впечатления в нем, не ожидая конца, - и от этого впадал в ошибки, разочарования и неизбежные противоречия. Собственно критический, более или менее стройный и проверенный взгляд являлся у него гораздо позже.

Он как Дон-Жуан к своим красавицам - относился к своим идолам: обольщался, хладел,

потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее свое поклонение. Идолы следовали почти непрерывно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он еще не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сейчас же, легко перешел к Достоевскому, потом пришел я - он занялся мною, тут же явился Григорович, попозже Кольцов, наконец Дружинин. Ко мне он отнесся сравнительно покойнее и трезвее, потому что я подвернулся с своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он покаялся даже где-то печатно - и стал немного осторожнее. Но и тут, в первые недели знакомства, послушавши его горячих и лестных отзывов о себе, я испугался, был в недоумении и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скороспелому суду. На меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. "Вам все равно, попадетсЯ мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, - всех одинаково рисуете: ни любви, ни нена-

висти ни к кому!" И это скажет (и не раз говорил) с какою-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шопотом: - "а это хорошо, это и нужно, это признак художника!" - как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю. Он, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направлению, но отнюдь не весь и не во всем. Искусство, во всей его широте и силе, не потеряло бы своей власти над ним, - и он отстоял бы его от тех чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я сам не слышал ничего от Белинского, но это было не нужно, благодаря словоохотливости Панаева, который слышал отзывы Белинского и по несколько дней разносил их с стенографическою верностью по домам, пока, вслед за Белинским, опять не увлекался чем-нибудь другим. Но Боже мой! что это были за отзывы! Кроме Кольцова и вне Кольцова уже не было и не бывало в ми-

ре поэтов! Этот образ заслонял у него на время и Пушкина, и Лермонтова - словом, ни о ком не было и речи больше. Заикнись кто-нибудь, не то чтобы усомниться, а просто прибегнуть, например, к сравнению Кольцова с кем-нибудь, или даже к простому и спокойно определенному роду поэзии и таланта Кольцова Белинский, а вслед за ним и Панаев, разгромили бы вконец! И это на неделю, на две, а потом анализ, охлаждение, осадок, а в осадке искомая доля правды.

Я не ошибочно сравнил эти увлечения Белинского с Дон-Жуановскими увлечениями женщинами: и у Белинского, как у поклонников женской красоты, все прежние идолы бледнели перед последним, иногда невзрачным, но имеющим более всего прелесть новизны. Истина же оценки высказывалась в большей или меньшей продолжительности впечатления, - и если последнее переживало несколько последующих идолов, то значит - критика его была непогрешима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

К идолам же, обманувшим его ожидания, или которыми он увлекался прежде, в моло-

дости, ошибочно, или больше, нежели следовало, - он был беспощаден впоследствии. Кажется, он восхищался еще в студенчестве Каратыгиным, когда тот приезжал из Петербурга в Москву, а Мочалов оттуда сюда, и когда происходил между обоими артистами сценический, а по поводу их, в журналах, и литературный турнир. Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозреваю, что Белинский в юности платил, кажется, обоим артистам более дани удивления, нежели потом они (или собственно Каратыгин) в его глазах стоили, когда Белинский развился и созрел. О Мочалове он и после всегда отзывался сочувственно, ценя в нем верное и чуткое выражение тонких, нежных или высоких сторон Шекспировских и Шиллеровских ролей, особенно Гамлета, к чему совершенно признавал неспособным Каратыгина. Любимцу своему за некоторые, истинно высокие минуты в тех или других ролях, он прощал вялость, монотонность и небрежность исполнения, когда этот актер был не в ударе, а это случалось очень часто. В Каратыгине же он как-то нехотя признавал талант, хотя талант был боль-

шой, и притом старательно выработанный трудом в школе сценических и литературных условий и преданий. Белинский говорил о нем как о неуклюжей, ходульной фигуре, смеялся над его манерой и грубостью понимания тонких ролей.

Здесь он впадал в тот недостаток, который мешал ему быть вполне беспристрастным критиком. Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах - было не в горячей натуре Белинского.

Между тем эта же самая горячность, т. е. способность увлекаться, и поставила его во главе критики художественных произведений и создала даже школу этой критики, первым удачным последователем которой был Добролюбов и менее удачным Аполлон Григорьев. Ни до Белинского, ни после него, не было у наших критиков в такой степени чуткой способности сознавать в самом себе впечатление от того или другого произведения, сближать и сличать его с впечатлением других, обобщать их и на этом основывать свой суд.

В этом собственно и состоял творческий прием его оценки. Ему помогало еще то, чего

недоставало другим критикам: это страстного сочувствия к художественным произведениям. Чем ярче и сильнее талант, тем страстнее было и впечатление. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазию и порождало эти горячие критические излияния, которые бросили столько свету и огню на все, что производила литература замечательного. Эта самая страстность увлечений повергала его, как я заметил, и в те преувеличения, натяжки и ошибки, которые ставились ему, бывало, его противниками в вину, как умысел и обман. Точно так же производило в нем нервное раздражение и всякое бездарное, антиизящное явление в литературе и вело к горячим словоизлияниям в обратном смысле - и все с тем же блеском, остроумием, но с беспощадною иронией.

В области критики художественных произведений являлось и является немало более или менее замечательных умов и перьев, но очень немногие из них подходят к произведению по прямому и кратчайшему пути, т. е. от непосредственного впечатления произведения на них самих: они обходят со стороны, от

холодного умственного воззрения пускаются в критические дебри и рассуждают там, где надо прежде всего чувствовать и огнем чувства освещать путь уму - к верному определению достоинств или недостатков произведения.

Но чуткость нерв, сила фантазии и впечатлительность, до степени страстности, даются природою, - по-видимому, не очень часто. Если сами художники встречаются не на каждом шагу, то и критики с такою сильною впечатлительностью, как у Белинского, при силе его ума и дарования, встречаются еще реже. Может быть, этим можно отчасти объяснить недостаток критики в нашей литературе, на который нередко раздаются жалобы в публике.

Недалеко то время, когда наступит черед самого Белинского предстать перед беспристрастный суд критики. Этот суд, не подкупленный привязанностью к его личности живых друзей-современников и его почитателей, настанет, когда охладится теперь пока еще горячее о нем воспоминание и предание: он отделит его общественно-литературную

деятельность от всяких дружеских симпатий, откинет все преувеличения и строго определит и оценит истинное его значение и заслугу перед обществом.

Даже и теперь еще люди второго поколения, не связанные никакими личными отношениями к Белинскому, просто по краткости периода, на который отодвинулись от него, затруднятся произнести строгий критический приговор его недостаткам.

Эти недостатки были, может быть, неизбежны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, как какому-то апостолу отрицания, пришлось разыграть в сфере критики и публицистики то же самое, что, другими способами и приемами, разыграл в искусстве Гоголь и что, иначе уже, конечно, продолжало потом и продолжает разыгрываться или доигрываться почти всеми литературными деятелями до сих пор.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, как его, и такие способы и приемы, какие с успехом были употреблены им: другие, более мягкие, покойные, строго обдуман-

ные, не дали бы ему сделать и половины того, что сделал он, образуя тогда собой, вместе с Гоголем, почти всю литературу: надо было разрабатывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все так прибрано, казисто; общество выделяло из себя замечательных, даже блестящих единиц в разных сферах деятельности, на вершинах его лежал очень тонкий слой общеевропейской культуры. Но масса общества покоилась в дремоте, жила рутиной и преданиями и не готовилась еще идти навстречу тем реформам, мысль о которых уже зрела в высших правительственных сферах и приближение которых чуяли и предсказывали некоторые умы, в том числе и Белинского. Он стал - или талант и вся его натура поставили его во главе нового литературного движения. Беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей - и словесной, и печатной проповеди.

Понятно, что, соединяя в себе роли публициста, эстетического критика и трибуна, про-

возвестника новых грядущих начал общественной жизни, он неизбежно должен был впадать в резкости, иногда крайности, в лихорадку торопливости, увлечений, разочарований, раздражений, эфемерных симпатий, несправедливых антипатий и недомолвок - словом, непрерывной борьбы, без оглядки назад и без остановок!

Кто не оправдает его, вспомя, с какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, в каком застое покоилась масса, перед которой он проповедовал? Крепостное право лежало не на одних крестьянах - и ему приходилось еще оспаривать право начальников - распоряжаться по своему произволу участью своих подчиненных, родителей - считать детей своей вещественной собственностью и т.д. - и тут же рядом объяснять тонкость и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзии. Без него, смело можно сказать, и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой.

Обращаясь к его увлечениям и разочарова-

ниям, припомню между прочим о его беспощадных отзывах о Кукольнике, и особенно о Бенедиктове.

Поражая направо и налево всякую рутинность, ходульность, ложь как в жизни, так и в искусстве, он и в том и в другом требовал простоты, естественности, и кто не удовлетворял этим условиям - тому пощады не было.

Кукольник и Бенедиктов, оба с значительными талантами, явились на свою беду последними могиканами старой, "риторической", как прозвал ее Белинский, школы. Он и печатно, и в разговорах не мог о них отзываться равнодушно. В Кукольнике он еще соглашался признать некоторые достоинства, именно в повестях из эпохи Петра Великого, и, ставя их в пример, тем тяжеле обрушивался на "Тасса", "Джулио Мости" и др. Но о Бенедиктове он и слышать не мог. Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова, как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объяснял

обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях, - указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего. Не помню, что он говорил печатно о его сочинениях, но в разговоре он постоянно раздражался против него, даже нападал (где-то в статье) на наружность Бенедиктова, в самом деле некрасивую. И Кукольник и Бенедиктов, оба, были его *bêtes noires*³. Первого он, кажется, знал лично, а второго нет, разве видел где-нибудь. Но антипатия к их сочинениям вполне переходила и на авторов.

В Кукольнике лично он мог еще преследовать и ту кичливость, которую носили с собой всюду многие из знаменитостей. Тогда был триумvirат из Кукольника, Брюлова и Глинки (говорят, неразлучных между собой), который примирял в обществе. Может быть, и это генеральство, выказывавшееся особенно резко в Кукольнике (которого я сам видал только мельком), в его фигуре, речи и манерах, - много прибавляло уксусу к желчи Белинского.

Развенчивание от театрального, мишурно-

го величия и самомнения разных знаменитостей и сведение их на степень обыкновенных смертных было тоже в числе его задач. Он не только отрезвлял от чрезмерного самолюбия живых, но, как известно, снимал венки и с усопших, возложенные на них слепым и превеличенным поклонением их современников, заходя иногда при этом далеко, впадая в вышеупомянутые ошибки, резкости, порицания и отрицания, не стесняясь исторической перспективой. Он как будто не замечал (и действительно в то время не замечал), что при этом страдали законы строгого беспристрастия. Вся сила ударов его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтоб добыть какую-нибудь новую или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требует прибавить, что он был пристрастен не в отрицательном только, но и в положительном смысле. Но последнее делалось у него не умышленно, а само собой. Его подкупали симпатии к близким или хорошим людям, к своему кружку - и он грешил

не совестью, а мягкостью сердца. Упомяну о некоторых примерах. Между прочим он хвалил повести Панаева, и однажды только как-то нехотя, почти шопотом, сказал мне уныло: "Творчества у него ни капли нет".

Кудрявцев из Московского кружка, большой приятель Белинского, написал недурную повесть, но Белинский отозвался о ней почти восторженно. Он смешивал приятеля с его сочинением, что, повторяю, у него было грехом его сердца, а не совести и эстетического вкуса. Литературные противники упрекали его в этой слабости, но никогда не указывали, из какого чистого источника проистекала она.

Я сказал выше, что Белинский боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую или расширить старую свободу: от этого и запальчивость, и пристрастия, и натяжки, и противоречия - все то, что неизбежно бывает при усиленной ломке старого и завоевании нового. Приведу пример, в котором Белинский является ревнителем женской эмансипации, не в обширном смысле так называемого женского вопроса вообще, который тогда еще не поступал, в нынешнем его значении и объеме,

на очередь, а просто только в вопросе о любви. В числе всяких свобод, конечно, он не обошел и женскую свободу, за которую поломал немало копьев и апостолом которой была тогда Жорж Занд. Он за одно уже это, помимо таланта, был ее восторженным поклонником.

Я пришел к нему однажды рано после обеда (он жил тогда у Аничкова моста); он ходил по комнате и был рад моему посещению. "Ну, что "Теверино"? - спросил он, - как вы находите?" - "Я не читал", - сказал я равнодушно. "Как не читали, вы?" - "Не читал", - повторил я. "Как так?" - "Не попалось книги под руку, я и не прочел". - "Что это такое!" - напустился он на меня и разразился сначала гонкой мне за лень и равнодушие, а потом дифирамбом "Теверино" и вообще Жорж Занду. Не читавши "Теверино", я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно он сказал об этой повести; помню только, что по мере того как приходили другие, человека два-три, после меня, он всякому указывал на меня и приговаривал с удивлением: ""Теверино" не читал!"

О "Теверино" я упомянул теперь случайно, в виде предисловия к тому примеру, который

хочу привести по вопросу о женской эмансипации и о крайнем увлечении этим вопросом Белинского. Не помню теперь, в этот вечер или в другой, он приступил ко мне с вопросом о "Лукреции Флориани", которая тогда появилась в переводе в "Современнике". Я и теперь помню то восторженное поднятие Белинским руки вверх, когда он, освещая фигуру Лукреции уже своим электрическим огнем похвал, ставил ее все выше, выше и, наконец, заключил почти с умилением, что это "богиня, перед которой весь мир должен стать на колени!"

Меня с начала знакомства с ним, как нового для него человека, часто звали к нему и туда, где он бывал, потому что он оживал с новым, не неприятным ему лицом, высказывался охотнее, был весел, доволен, словом, жил по-своему. О Жорж Занде тогда говорили беспрестанно, по мере появления ее книг, читали, переводили ее; некоторые женщины даже буквально примеряли на себе ее эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло или пришло

бы, как всегда, просто, без участия головы. Так, говорят, т. е. по рецепту Жорж Занда, даже женился и В. П. Б. и сейчас же разошелся с женой - уже по собственному своему усмотрению.

Я с большим удовольствием прочел "Лукрецию Флориани", наслаждаясь там вовсе не ее тенденцией освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецию, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеров, этой нежностью очертаний лиц, особенно женских, ароматом ума, разлитым в каждой, даже мелкой заметке, и до сих пор смотрю так на Жорж Занд и наслаждаюсь всем этим в ней независимо от ее задач. Но Белинский, ценя в ней художественность исполнения, конечно, по достоинству, выше всего, однако, ставил все-таки ее идеи. Я не раз спорил с ним, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорее равнодушно, чтоб только вызвать его высказаться, и равнодушно же уступал. Без этого спор бы никогда не кончился - или перешел бы в задор, на который, конечно, никто из знавших его никогда умышленно бы не вызвал. Я только, так сказать, затрогивал

его, или он, вернее, сам задира́л меня вопросом, ожидая возражения, и тогда разрешался любимым тезисом, кипятился и выкладывал все, что у него наготовилось за известный период о том или другом предмете и что потом укладывалось или в статье, если к тому времени подвертывалась статья, или в словесную импровизацию, в спор. Как безмолвных, так и слишком горячих собеседников, каким он был сам, он, кажется, не любил, что и понятно.

Я помню, что, по поводу "Луcreции Флорини", я упрекал его слегка рабством авторитету, а самой Жорж Занд ставил в вину, как художнику, тесную исключительность ее сферы и ее парадоксы, доказывал между прочим, что нельзя признавать "богиней" женщину, которая настолько не владеет собой, что переходит из рук в руки пятерых любовников, не обходя даже такого хлыща, как грубый, неразвитый актер, что это уже не любовь человеческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натуре, а так, "гнусность", что, наконец, любовь двух людей требует равенства в развитии, иначе это каприз и т. д.

Он напал на меня: "Вы немец, филистер, а немцы, ведь это семинаристы человечества! - прибавил он. - Вы хотите, чтобы Лукреция Флориани, эта страстная, женственная фигура, превратилась в чиновницу!"

Он однажды выразился даже так, что и художник сам должен окунуться в омут распущенности нравов - и проговорил это довольно серьезным голосом, с важным выражением лица, с убеждением, как заповедь. Я уверен, что у Белинского, в этом грубом парадоксе, крылось то убеждение, что художник, не прикоснувшийся собственным опытом низших, грубых слабостей и падений, оставаясь в строгих пределах чистых нравов, не будет иметь многих красок на своей палитре для живописания всех людских страстей и страстишек. Иначе нельзя этого и объяснить. Белинский, конечно, вдавался в очевидную натяжку, допуская не только снисхождение, но присуждая, так сказать, венок женщине, которая смело оторвется от моральных и материальных уз, какими связана была, - и я полагаю, - во многом будет связана, - т. е. сама не позволит развязать себя, когда наступит

отрезвление от горячки так называемого женского вопроса и когда последний вступит в фазис покойной и разумной обработки.

Белинский, без сомнения, лучше других понимал все, что есть крайнего в жизни этих Лукреций, и не смешивал про себя всех этих куч навоза, где толпились актеры, герцоги и прочие, сквозь фалангу которых прошла Флориани, - в одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеал женской свободы, он рвался к нему, жертвуя подробностями, впадая в натяжки и противоречия даже с самим собою, лишь бы отстоять этот идеал, чтобы противные голоса не заглушили самого вопроса в зародыше.

О том, что собственно есть любовь, как человеческое чувство, и как строго и зорко надо его отличать от одного животного побуждения, - он в ту минуту не думал, хотя нередко в печати выражал трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопрос, до которого, конечно, дойдет очередь, когда одержана и упрочена будет главная победа свободы, а детали придут потом, когда начнется воспитание женщины в духе той свободы, - тогда и

разберут, что и как. Особенно он боялся помехи со стороны пуритан и пуританок, которые косо поглядывали не только на эмансипационные попытки Жорж Занд, но и на чувственные проявления любви вообще. "Да, - задумчиво и серьезно сказал он однажды, уж не помню при каком случае, - конечно, не одно "это" (т. е. чувственность) соединяет любящихся, но без "этого" ничего другого и не нужно!"

Между тем собственная его семейная жизнь совершенно противоречила тому, что проповедовал он на своей трибуне о женской свободе любить на манер Лукреции Флорентины. Все, что говорилось и писалось о его безупречных отношениях к женщинам - надо верить. В семейной жизни трудно отыскать человека, который бы с большим уважением обращался к жене, чем он. Во всем его обхождении с ней было то, что французы называют *difference*⁴: это же свойство проглядывало и в отношениях его к прочим знакомым женщинам, к женам и вообще семействам всего кружка. Если у него в душе и были какие-нибудь семейные облака, то, вероятно, он нико-

гда никому их не обнаруживал. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на деле он признавал "святость" семейных союзов, он, не любивший признавать вообще святостей.

Мне остается заметить кое-что еще о несправедливом поголовном и голословном упреке, который нередко обращали к Белинскому - в необразованности!

В относительной необразованности можно упрекнуть всякого, не исключая самых образованных. Но на него обрушивался этот упрек, как будто он был неуч, как будто невежество его в чем-нибудь резко обличало его и было заметным недостатком.

Но сочинения его перед нами: где же грешит он в них какими-нибудь промахами против того или другого знания, или слабостью в понимании того или другого, о чем писал? А о чем он не писал и чего не касался? И нигде нет никаких резких обличений в незнакомстве с догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Материальный повод к этому упреку, конечно, был тот, что он не кончил курса и не

получил университетского диплома. За это прежде всего ухватились все завистливые посредственности, которых значение бледнело по мере того, как развивался и обнаруживался талант Белинского. У него, правда, не было ни официального значения, ни официальной учености, и за это его разжаловали в необразованные, в неучи, в недоучки!

Помнится, что и Полевого, в начале его появления, тоже упрекали неученостью и даже обзывали "купцом", потому что он не был в университете и не имел ученой степени.

Узнали, что Белинский не знает по-немецки, следовательно, он-де ни Гегеля, ни Гете, ни других в подлиннике не читал, а говорит о них так, как будто читал их сам: ну, значит, и неуч!

Но как далеко ниже его стояли многие из упрекавших его в своей мнимой учености, нужды нет, что они занимали ученые кафедры и положения, или сотрудничали в журналах, говорили и писали о древних и новых литературах, не зная иногда ни одного или зная только французский язык!

Нет, Белинский был образованнее всех

своих сотоварищей (не учение, а именно образование), за исключением разве одного Герцена, правильная подготовка которого возводила его образованность на степень учености.

Средства Белинского были скудные, пути образования почти случайные (однако в университете, только без диплома). Знания, приобретаемые в университетской аудитории, дополнялись в кругу товарищей, при совместном чтении и взаимном объяснении оригиналов или переводов с иностранных языков, наконец среди прений, разборов в юных кружках, в добывании с трудом и в взаимной передаче книг.

Разве это не школа, не академия, где гранились друг о друга юные умы, жадно передавая друг другу знания, наблюдения, взгляды — вся эта жажда и любовь к знанию? Какого же еще надо афинского портика, с Платоном в вицмундире и очках? Не так ли мы все приобрели то, что есть в нас лучшего и живого? Не там ли, в юношеских университетских кружках, и мы сортировали и осмысливали то, что уносили от кафедры?

Представьте же в этой школе мальчика с светлой головой, с впечатлительным воображением, любознательного и талантливоего! Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и понимания до степени ясности: сколько сокровищ он вынесет из такой школы!

А та масса русских и французских книг, которую он прочел по обязанности сотрудника, от "Молвы" до "Современника", в течение двадцати лет: это тоже своего рода школа! Тут ему не нужен был профессор: у него был свой регулятор и руководитель, который ближе свел его и с Гегелем, и с Шиллером, и с Гете - путями, непроходимыми для других, но доступными ему.

Ссылаюсь на один из любимых авторитетов Белинского, Жорж Занд, которая где-то, говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познавать все, заключает так: "On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre"5.

И Белинский действительно "понимал" все, не только к чему прикасался его сосредоточенный анализ, но и то, что проносилось

мимо его, на что он случайно обращал взгляд. Он жил, непрерывно учась за пером, в живых беседах с друзьями и почитателями, и роясь в бездне книг, проходивших через его руки: и так до конца жизни!

В руках противников Белинского упрек в неучености, как известно, был Архимедов рычаг, которым они старались столкнуть его с места, но, конечно, безуспешно.

Профессия ученого была не его профессия, да он никогда и не брал ее на себя.

Следовательно, говоря о его знаниях, необходимо обуславливать в точности, какой именно учености недоставало ему - и за этим ставить вопрос: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на долю, - именно для роли - не эстетического критика собственно, не публициста только, а для того и другого вместе, и еще для чего-то - третьего? Наконец, надо еще спросить: отвечала или не отвечала степень его подготовки эпохе и моменту его деятельности и его среде - и определить, сколько он сделал для своего времени и современного ему поколения? И только в совокупности на все эти вопросы и

следует, и можно давать по возможности покойный, т. е. отрешенный и от вражды, и от пристрастия к нему ответ. Кстати можно было бы спросить, много ли сделали те "ученые", которые громили его за неученость?

Известно, как Белинский был искренен и не хвастлив. С посторонним, мало знакомым лицом, он почти совсем не говорил, или говорил мало, несвязно и не блистал ни умом, ни знанием. Только с близкими он был свободен в речи, не остерегался ошибок и давал волю своим силам. И в таких именно спорах он обнаруживал массу знаний, которых в покойном разговоре, вне всякого увлечения, нельзя было подозревать в нем. Он ронял и сыпал их нечаянно, как часто нечаянно в печатных статьях сверкал остроумием, удачными сравнениями, ссылками на те или другие авторитеты и т. п.

Следовательно, знания, хотя бы собранные медленно, иногда урывками, служили прямой его цели, его делу, т. е. его перу. Он не держал на ученой конюшне оседланного готового коня, с нарядной сбруей, не выезжал в цирк показывать езду *haute école*, а ловил из

табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученых коней. Этот способ партизанских наездов именно и нужен был ему для его целей.

Познаниями мог превосходить его, как я выше сказал, например, Герцен. Но ведь и он не ученостью все сделал в литературе и в жизни, чту сделал, хотя ученость или, лучше сказать, всестороннее образование было важным подспорьем его таланту и блестящему остроумию.

Можно, конечно, пожалеть, что и Белинский не совершил от начала до конца путь более обширного или, лучше сказать, более систематического образования, для исполнения, с большим авторитетом, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соответствующая его природным средствам подготовка помогла бы еще более его влиянию на литературное развитие в обществе и упрочила бы за ним значение его деятельности и заслуги без всяких сомнений и споров.

1 Эти заметки извлечены из письма, писанного в 1874 году, к А. Н. Пыпину, по случаю собирания им сведений от знавших лично Бе-

линского, для биографии последнего.

2 Том III, стр. 376 (изд. 1862).

3 до крайности противны (франц.).

4 почтительность (франц.).

5 Всего знать нельзя, нужно довольствоваться пониманием (франц.).

6 высшей школы (франц.).